

«...книги Зеленогорского вырывают из рук друг у друга домработницы и жены олигархов, про тыщи провинциальных учительок, которые над вымыслом обливаются слезами, мы уж и не говорим».

Игорь Свиноренко, из интервью

«...все признаки большого русского писателя налицо: еврей, пьет водку, технарь по образованию, в сознательном возрасте пережил тему «физики – лирики», терпеть не может бардов и слезливую сплоченность... ну просто нет у него другого выхода, кроме как стать большим русским писателем!...»

Альфред Кох, из интервью

ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ РАССКАЗЫ ВАГОННОЙ ПОДУШКИ



«...Я хочу, чтобы моя книжка лежала на полке в туалетной комнате, где под сигаретку читатель получил бы удовольствие».

Валерий Зеленогорский

Валерий Зеленогорский

Рассказы вагонной подушки

«ЭКСМО»

Зеленогорский В.

Рассказы вагонной подушки / В. Зеленогорский — «Эксмо»,

«Вагонная подушка! Сколько слышала она, сколько слез впитала, сколько раз ее кусали от отчаяния, она утешила в дальней дороге не одну буйную голову, она слышала много признаний и немало горьких слез приняла в себя длинными ночами...» Валерий Зеленогорский обладает уникальным даром рассказчика. В своих поразительных и в то же время обыденных жизненных историях ему удается соединить парадоксальное: цинизм и сострадание. Чтение его новой книги похоже на беседу со старым другом у теплого очага, с рюмкой хорошего коньяка в руках. И пусть весь мир отдохнет и позавидует!

© Зеленогорский В.

© Эксмо

Содержание

Вступление	5
Трубач и Скрипачка	6
Рома и Юля, или Любовь и смерть в Веронеже	10
Горячая новость в ООО «Снасти»	13
Письмо Анне Чепмен	16
Десять капель бергамота	19
Укол прошлого	20
Бармен Сергей	24
Лидер блогов	28
История хромого вентилятора	31
Хеппи-энд	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Валерий Зеленогорский

Рассказы вагонной подушки

Вступление

Кто не ездил на поезде – нет таких людей, кроме тех, кто считает, что движение бессмысленно, но даосов среди нас ничтожно мало.

Вагонная подушка!

Сколько слышала она, сколько слез впитала, сколько раз ее кусали от отчаяния, она утешила в дальней дороге не одну буйную голову, она слышала много признаний и немало горьких слез приняла в себя длинными ночами.

Когда за вагонным окном проносятся бури и ливни – она согревает душу, как печка в темном доме, когда все уже спят и никто тебя не слышит – только она остужает жар в голове одинокого человека, которому, кроме нее, больше некому сказать, но когда ты кричишь, а тебя никто не слышит, она спасает тебя, утешая, как мама.

Она молчит, сохраняя тайны людей, она не судит, она не приводит приговоры в исполнение, она слышит и слушает, и ее каменная твердость – от слишком тяжелых дум, которые ей поверяют.

Я перескажу ее рассказы своими словами, пусть она поведаст обо всем, что слышала в дальних путешествиях и в снах тех, которые ее обнимали, плакали и смеялись, она знает много, и ее надо послушать тем, кому интересна другая жизнь – тех, кто рядом с нами. И чем больше мы будем знать друг о друге, тем легче поймем себя.

Трубач и Скрипачка

Он играет на трубе в переходе со станции метро «Театральная» на стацию «Охотный Ряд», играет на трубе популярные мелодии, стоит неловко, скособочившись, с опущенными глазами, и даже не смотрит на футляр, куда падают изредка мелкие монеты и мятые десятки.

Ему тяжело стоять, у него болит нога, вот уже три месяца у него болит нога, врачи говорят, что надо лечь на обследование, но нет регистрации и полиса.

Коммерческая медицина кусается, как цепной пес, который порвал ему ногу на станции электрички, где они с женой снимают сараишко у алкашей на окраине поселка Правда в сорока километрах от Москвы.

Его жена играет на скрипке в продувном переходе на Тверской-Ямской, ближе к Белорусскому вокзалу.

Она седоволоса, но еще совсем нестарая женщина – ей всего сорок пять лет. На вид ей гораздо больше, очки и бедная одежда старят ее, но жалкий вид способствует подаянию. Народ тут побогаче, чем в метро, но подают мало, за двенадцать часов она едва набирает тысячу, но надо стоять и играть: они должны вылечить ему ногу. Если не лечить, то ногу отнимут, и тогда он не сможет играть в метро, и наступит полный трындец...

Она старше его на десять лет. Последние пять они стали жить плохо, а до этого жили душа в душу, вместе работали в шахтерском поселке около столицы Кузбасса, он только закончил консерваторию, она была директором школы искусств, он преподавал духовые и жил на съемной квартире. У нее никогда не было мужа, не имела она товарного вида ни в двадцать, ни в сорок, но он увидел в ней что-то материнское, и прилип к ней, и стал жить в ее маленькой квартирке, и она зажила с ним со страшной силой никогда не любившей женщины.

Они не расписывались, но жили хорошо, он даже отнес ее как-то на третий этаж на руках, просто так, не больную, не раненую, просто так отнес на третий этаж. Поздней ночью.

Тогда они приехали счастливые с концерта с детьми из своей школы. Он нес ее, слегка выпивший на банкете, где она первый раз выпила рому и съела невиданное чудо под названием фейхоа.

От того безмятежного времени не осталось ничего: школу закрыли – у родителей учеников не было денег, шахту закрыли, и в городе все мужчины стали таксистами, женщины торговали на рынке тапочками и сосисками, девочки стали проститутками, а мальчики – бандитами.

Потребность в музыке свелась к двум поводам: стали больше хоронить, и Трубач дул на ветру Шопена, а Скрипачка с подругой-арфисткой в загсе наяривали Мендельсона, но только по субботам. Денег катастрофически не хватало, трубач на кладбище пристрастился к поминальной водке, и его выгнали из оркестра. Трубач стал дома дуть дурь, травой пахло даже в подъезде. Скрипачка терпела все его ломки и передозы, прихватила еще пару подъездов для уборки, но денег на еду и наркоту не хватало.

Тогда Трубач подписал договор на продажу ее квартиры, и они оказались на улице. Трубач плакал, и Скрипачка его простила, и они, взяв свои инструменты, поехали в Москву – разгонять сытым москвичам тоску.

В поезде Трубач напился от волнения и тревоги за непонятное будущее, подрался в тамбуре с двумя пассажирами, на вид – боксерами или борцами. Они навешали Трубачу по соплям и губам, испортив основной орган работы.

Скрипачка во всем винила себя – она стелила ему постель и слышала о драке, когда его уже как грушу метелили два борца. Скрипачка влетела в тамбур, как помесь тигрицы и коршуна. Трубач лежал на полу с разбитой мордой. Он отчаянно махнул больной ногой и попал Скрипачке прямо в челюсть. То, что должно было достаться врагам, досталось его спаситель-

нице. Она помыла его в туалете, отвела в купе, положила на нижнюю полку, а сама залезла наверх и уткнулась в подушку.

Скрипачка рухнула на постель и завывала, закусив вагонную подушку. В плацкарте особо не поплачешь, но подушка-подружка слышала все, весь горячечный бред, путанные слова со всхлипами – все приняла в себя вагонная подушка, единственный психоаналитик для бедного человека – к кому пойдешь со своим горем, стыдно и дорого, теперь можно сходить в церковь, но много лет подушка была единственной отдушиной и окном, в которое можно было крикнуть о помощи.

Всю ночь Скрипачка ревела. Утром Трубоч и Скрипачка приехали в столицу и сразу отправились в поселок Правда, где сняли сарайчик с печкой. Там супруги и стали жить за весьма умеренное вознаграждение – у алкашей, считающих себя художниками. Они ничего не творили, кроме пьяных безобразий, но жильцов не трогали, понимая, что это источник их хмельного благополучия.

Утром Трубоч и Скрипачка поехали в Москву искать место для выступлений. В переходе на «Охотный Ряд» стоял целый камерный ансамбль студентов консерватории, они играли бодро и грамотно, там по дороге на Красную площадь бродили много иностранцев, подавали они хорошо, тут нашим героям с одной скрипкой и трубой ничего не светило.

Проехали по «серой» ветке – там доминировали «слепые» с баянами и мандолинами, они пели хорошо, но зорко следили, чтобы чужие не ходили.

На «Полежаевской» Трубоч попробовал играть в конце перехода, через минуту подошел сержант, аккуратно послал музыканта на три буквы и пообещал сломать руку.

Потом Трубоч и Скрипачка поехали на Арбат, где стояли музыканты через каждые двадцать метров, там все было схвачено, и они разделились до вечера, каждый пошел своим путем.

Скрипачка вышла на «Белорусской» и пошла пешком, ныряя во все переходы; на углу Тверской и Чайнова ей повезло: переход был пуст.

Она встала и стала играть, через пять минут ей бросил в футляр 50 рублей какой-то парень с рюкзаком, потом маленькая девочка с мамой дали десятку, а девочка протянула конфету «Вдохновение».

Трубоч поехал на «Театральную», остановился в середине длинного перехода и начал играть. Репертуар его был прост: популярные мелодии западных хитов, песни Цоя, Шевчука и Розенбаума. В этом переходе люди не останавливались, Скрипачу первой бросила деньги женщина, слегка хромавшая. Он смотрел в пол и увидел, что ее правая нога одета в ортопедический ботинок, но качественный, сделанный на заказ на Западе.

Женщина слегка задержалась возле музыканта и вскоре ушла, прохромала на свое место работы на улицу Белинского, в департамент по строительству Москвы, и стала пить чай.

Она парковалась на площади у Большого театра, на стройплощадке, где ей любезно разрешал оставлять машину прораб, которому она закрывала договора, а потом шла по переходу – и там нашла своего Трубоча. Каждый день, утром и вечером, она останавливалась, бросала сто рублей, он видел ее, но не благодарил: у него болела нога не переставая.

Однажды его не оказалось на месте, она испугалась, вечером его тоже не было, она не спала всю ночь, еле дождалась утра и уже за двести шагов до середины перехода услышала песню Цоя «Группа крови».

Ее отпустило от ночного озноба, она подошла и даже спросила Трубоча в первый раз, как его дела, он удивился, но ответил, что в порядке.

Вечером она твердо решила пригласить его поужинать. Подошла и пригласила его, он удивился, сложил трубу в футляр и пошел, не понимая, куда он идет. По дороге до машины они молчали, но, сев в автомобиль, она заговорила первая.

Они познакомились. Трубочка сказал, что его электричка в десять и у него мало времени, женщина повезла его к Трём вокзалам и уже знала, что они пойдут в кафе у Арбитражного суда, маленькое кафе с приличной едой и скромными ценами.

Трубочка немного стеснялся, прятал ноги в пыльных ботинках. Он успел внимательно разглядеть странную женщину, которая явно чего-то от него хочет. На вид она была совсем ничего, лет тридцати, ухоженное лицо, и одежда на ней очень недешевая. На лице женщины читалось волнение, видимо, у нее не часто бывают мужчины.

Он подумал: «Выпью и поем, а потом уеду, и все».

В кафе они сели в уголок, под портретом Шерлока Холмса в исполнении Ливанова, она заказала много еды, он стеснительно попросил водки – спокойно заказала триста, он суетливо поблагодарил.

Первые три рюмки он выпил без перерыва, чередуя рюмки подхваченными ловко грибочками, потом он ел сразу все, салат оливье чередовался с селедкой и холодцом, ел он жадно, аппетитно, но неаккуратно, роняя куски и чмокая.

Потом он закурил, поднял лицо от еды и, слегка развалясь, стал спрашивать свою поклонницу, кто она и что ей надо от него.

Она, немного заикаясь от волнения, стала говорить о себе, она рассказала ему, что всю жизнь бьется за себя, детдом, где она с хромой ногой не бегала со всеми по крышам и кустам, прилежно училась, знала, что ей ничего не достанется просто так, всего добилась сама, сама поступила в МИСИ, сама выучилась, сидела на картошке на голую стипендию, не ходила на вечера и дискотеки, у нее не было ни одного платья, ей не нужны были платья, ей нечего было показывать из-под них. Так она училась пять лет, потом пошла работать на стройку, чтобы получить квартиру, и отсидела в вагончике у прораба, и получила свою квартиру через три холодных зимы в Марьино. Устроила себе гнездышко сама, своими руками, а потом уже перешла на работу в департамент на Белинского, и стала получать хорошие деньги, и могла уже ездить отдыхать два раза в год в Египет и Турцию, но почти не загорала и не купалась, стесняясь своих недостатков.

Трубочка не пил во время ее рассказа, захваченный ее искренностью. У него давно ныла нога, и эта боль пронзала его при каждом шаге. Трубочку стало жалко себя, и он заплакал.

Она вздрогнула и стала его утешать, гладила его руку с обкусанными ногтями, шептала ему разные слова, как маленькому. «У мальчика не боли, у собачки боли, у кошки боли, у мальчика не боли».

Он перестал плакать и стал жестко допивать пузатый графинчик с ледяной водкой, через десять минут закончил и сказал, что ему нужно на вокзал.

Они сели в машину, ехать оказалось близко, до электрички оставалось двадцать минут.

Они сидели молча. Женщина хотела побыть с ним еще, хотела прижаться к нему, большому и сильному, но сделать первой движение к нему не было сил. Он прочитал ее желание и грубо привлек ее к себе, и дальше она уже ничего не помнила.

Очнувшись она уже полуодетой; кутерьма в крошечном мини-купере ошарашила ее, она ехала домой с ощущением полного полета – так высоко она не летала даже в своих снах.

На платформе Ярославского вокзала Трубочка ждала Скрипачка, удивленная его новым видом. Пьяный и весьма довольный, он подошел к ней и попытался ее обнять, она услышала новый запах, которым он окутал ее. Она уже поняла, что с ним что-то случилось, но спрашивать не решилась. Они сели в поезд, он сразу заснул на ее плече, потом его голова сползла ей на колени, ей было тяжело, но она не шевелилась всю дорогу до дома.

В доме, куда они доплелись со станции, Скрипачка раздела мужа, не включая света, уложила его на матрас и пошла стирать свой скромный наряд и его пыльные брюки и носки, которые за день на улице приходили в полную негодность.

На следующий день, проходя мимо, она оставила возле Трубача пакет с бутербродами и термосом с горячим чаем.

Она пришла к нему еще в обед и хотела его накормить горячим, но он не пошел: после обеда люди подавали лучше.

Вечером она опять пришла и уговорила его вместе поужинать, и они поехали опять в кафе, где они были вчера, все повторилось, включая финал, и она отвезла Трубача на вокзал, он вышел и исчез в толпе отъезжающих.

Опять Трубач и Скрипачка ехали домой, опять он спал, пьяный, у нее на руках, опять он рухнул пьяный на матрас. Она опять пошла стирать, запах чужой женщины не брал ее стиральный порошок, он душил ее вместе со слезами, которых она не сдерживала, Трубач уходил от нее, она это чувствовала. Скрипачка вчера посчитала деньги, на обследование осталось найти всего пять тысяч. Она уже звонила врачу, он готов принять Трубача с понедельника и обещал, что ногу можно спасти, если не затягивать.

До утра Скрипачка не спала, сходила на станцию, купила бутылку и выпила во дворе, перед их убежищем, долго сидела, вспоминая все, что было, все годы: хорошие и плохие, все, что он сделал ей горького и больного, но закончилась бутылка, и закончились воспоминания. И она пошла стирать все его вещи, готовила его, понимая, что если он поправится, то уйдет, а если нет, то, может быть, останется. Она с ужасом подумала, что, может, так будет лучше: останется с ней, но без ноги.

Нет, решила она, надо лечить, надо спасать ногу, надо спасать его. И сразу ей стало легче, просто наступила ясность, и Скрипачка пошла будить мужа. Пора было ехать в Москву.

До вечера Трубач не видел своей поклонницы, она целый день бегала и летала по Москве, решая проблему с его лечением. Все образовалось: у нее в сумке лежало направление в клинику, она все оплатила и ждала только вечера, чтобы сделать ему подарок, от всей своей трепетной и сокрушительно летящей души.

Вечером Трубач уже ждал ее, привык за два дня заканчивать день хорошим ужином и спонтанным сексом. В это время нога совсем не болела, Трубач желал этого времени, и оно наступало.

Они быстро доехали до кафе, Шерлок Холмс с портрета подмигнул Трубачу, посасывая трубку. Портрет тоже привык к этому славному посетителю, редко заходили сюда симпатичные и сильно пьющие люди, портрету не нравилась женщина, которая поила и кормила Трубача, портрет ревновал.

Пока Трубач пил, она достала из сумки конверт и вынула из него направление в платную клинику. Трубач прочитал, она смотрела на него, он молчал, потом выпил, пожевал груздь и сказал: «Спасибо».

Потом они ехали на вокзал, Трубач пошел на платформу, качался, полный водки и ожидания новой жизни. Он подошел и сказал твердо и непреклонно: «Я ухожу, езжай домой, мне ничего не надо», – отдал Скрипачке футляр с трубой. Скрипачка все поняла: концерт окончен, дуэта больше не будет, она опять станет солисткой.

Трубач повернулся и пошел на выход, у дверей его подхватила под руку какая-то баба. Они удалялись, держась за руки, и не хромали, поддерживая друг друга.

Скрипачка села в поезд и поехала назад в город детства. Утром она вернулась туда, где когда-то была счастлива. Только вагонная подушка услышала все, все слова и слезы она вобрала в себя, оставила в себе, освободив Скрипачку от этой напасти.

Рома и Юля, или Любовь и смерть в Веронеже

Аудиозапись урока русской литературы, проведенного «трудовиком» в лицее «Возрождение» с нестандартным подходом к образованию

Нет повести печальнее на свете...

Эта история потрясла жителей Веронежа. Всего пять дней из жизни подростков Ромы и Юли захлестнули страницы таблоидов, и даже на базаре потом шептались, что это борьба двух кланов за крытый рынок, единственный источник налички в городе.

Дети двух благородных семей губернского масштаба полюбили в пятницу, а в среду их уже не стало...

Ромин папа возглавлял прокуратуру, а Юлин отец был авторитетным предпринимателем. Дети учились в лицее, но их половое созревание в разных компаниях происходило.

Рома в компании своих друзей Чука и Гека уже пробовал вино и легкие барбитураты, да и в любви имел первый опыт со студенткой-практиканткой, в чисто познавательных целях.

Юля была совсем невинна, жила под присмотром домработницы, заслуженного работника образования, уволенной за критику развала СССР либерастом – директором школы, избранным одурманенным педколлективом с нарушением демократических процедур.

Так она стала кормилицей-экономкой в доме своего бывшего ученика, который стал хозяином народной собственности в микрорайоне на окраине города.

Однажды две машины столкнулись на дороге, никто не хотел уступать, и повозка Х-класса сбила правоохранительному органу зеркало заднего вида. Налицо был разгул криминала, и водитель прокурора вломил помощнику авторитета по сусалам, потом вышли сами хозяева, потом жены их, и началось...

Только проезжающий по делам на охоту губернатор остановил весь этот беспредел, используя мат и жесткую федеральную вертикаль. Прокурор сначала возмущаться начал, но потом остыл, вспомнил, что против губера у него еще шишка не выросла.

Разъехались, но обида осталась, никто никого прощать не собирался, кто-то должен был ответить за наезд, и ответ не заставил долго себя ждать.

В тот же вечер в клубе «Крыша» проводили Хеллоуин. Этот клуб держал Борис фон Рабинович, старый змей из бывших расхитителей социалистической собственности – известный эротоман, он недавно овдовел и искал игрушку для низких страстей себе и своему приемному сыну визажисту, арт-директору SPA-салона «Парис».

Юлин папа извращенцев не одобрял, но в «Крышу» Юле разрешал ходить: там не было наркотиков и фейсконтроль осуществлялся силами ветеранов спецподразделения «морские котики», которые по четвергам проводили в том же клубе программу для дам по крейзи-меню.

Роме и его друзьям вход в клуб был заказан, но в тот вечер, укрывшись плащами и масками, они проникли в стан врагов с желанием учудить какую-нибудь байду.

В зале было потно и жарко, брат Юли Dj Тима с тыквой на голове крутил на вертушке миксы из «Депеш мод» и «Ласкового мая», Чук и Гек – продвинутые по музону парни – возмущались и дали ему по тыкве. Рома не вписался, он уже плыл в неизведанные дали. В зал, шелестя плащом, вошла незнакомка.

Так и произошла встреча двух любящих сердец, легкая пикировка, коктейль «Оргазм» – и Рома потерял голову, а Юля разбила свое сердце, да так сильно разбила, что пришлось вызывать платную «Скорую», но врачи не помогли. Их специализацией было снятие ломки, передоза и запои. Сердце так и осталось разбитым.

Глубокой ночью Рома пришел подшофе к коттеджу предпринимателя и встал под балконом. Юноша был в смятении и стал читать Юле стих Мандельштама:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож.

Юля по малости своей такого не знала и приняла стишок за дурное предзнаменование. Кормилица совратила ее эзотерикой и мистикой, и Юле показалось, что случится страшное. Она убежала с балкона в слезах, бормоча: «Воронеж – х... догонишь», – она слышала это от папы своего, когда он скрывался, находясь в федеральном розыске.

На следующий день в пивном баре «Свинья» столкнулись две бригады, слово за слово, х. м по столу, и в первом раунде Тим засадил отвертку в Чука, и все разбежались, не допив местный бренд-коктейль: пиво «Ништяк» с водкой «Маруся».

Тим скрылся. Рома в ярости, он сел в свою коцаную «беху», нашел Тима на даче у местной модели «Сиськи 2008 года» по версии глянцевого таблоида «Круто» и завалил его из именного «стечкина», подаренного папе министром МВД за борьбу с оргпреступностью в регионе.

Рома прих. ел, когда понял, что его не спасут ни прокурорские, ни судейские, и решил скрыться у своего тренера по метанию молота Лоренцова, в миру Лоренцо, ныне монаха, живущего отшельником на кладбище в склепе купца Калашникова – местного Третьякова-Мамонтова, убитого большевиками за его благотворительность на деньги, украденные у трудового народа зимой 1918 года.

Юля, получив эсэмэску от Ромы, позвала его к себе, и два часа они прощались без надежды на новую встречу. Рома был безутешен и великодушен, все обошлось легким петтингом (есть и более радикальные версии).

Еще раз пробив поляну, Рома понял, что надо валить, пока все стихнет. Он уехал в город Грязь, где затаился в пансионате для ветеранов ФСБ.

В городе все в напряге, фон Рабинович (с ударением на втором слоге, на балканский манер) настаивал на помолвке с его сыном визажистом, Юля плакала и просила отложить, но отец настаивал, хотел, чтобы визажист увез ее из города до большой стрельбы с прокурорскими.

Юля плакала на плече кормилицы, и у нее родился план спасения.

Случайно в сумке своей няни нашла клофелин, который старуха отобрала у своей троюродной внучки, приехавшей работать на рынке с парой джигитов – на ниве воровства с применением психотропных средств.

Юля слышала, как джигиты во дворе инструктировали внучку-вонючку, и поняла, что может заснуть на время и разрушить зловецкий план.

У внучки с джигитами не срослось, их приняли менты, а внучка успела соскочить и уехала, сбросив препарат бабке в сумку на всякий случай.

Подготовка к свадьбе шла полным ходом, монах-метатель Лоренцо взял на себя смелость венчать выкреста и гея с девой непорочной вопреки воле епархии. Юля в белом платье приняла клофелин и заснула с улыбкой на устах. Семья в шоке, монах в шоке, Юля в коме.

Юлю отвезли в фамильный склеп, и она осталась там на ночь с монахом Лоренцо, который читал над ней Шекспира в переводе Щепкиной-Куперник.

Лоренцо уже послал Роме эсэмэску, но она не дошла из-за козней местного сотового оператора, только малява через одного баклана доехала до Грязи, и Рома узнал, что любовь его здесь больше не живет, как поет певец Сташевский.

Рома вылетел в Веронеж не на крыльях любви, а на парусах отчаяния, в бардачке его «бехи» три бутылки паленой водки, которую все в округе называют «Смерть пришла». Рома хотел принять ее у гроба невесты и умереть с ней в один день. На въезде в город его тормознули менты, но он отмазался одной бутылкой, несмотря на федеральный розыск, любовь победила коррупцию, и у оборотней в погонах иногда есть сердце.

Рома вошел в склеп и ослеп от горя, по ходу он завалил визажиста, который терся у дверей с неясными целями. Рома исполнил его отверткой и остановил некрофила-извращенца.

Девочка лежала в гробу, ее лицо, подобное розе утренней свежести, поразило Рому. Он сел на корточки, как восточный человек, и стал пить-поминать свою любовь.

После первой бутылки Рома запел, раз десять спел «Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво...»

После того как он допил до половины вторую, у него начались глюки из видеоклипа на песню группы «Бумбокс», и Рома упал со словами: «Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, кто мы и откуда...»

Он захрапел, в склепе стало тихо, время дьявола наступило, в такие часы, как правило, засыпают даже охранники на атомных станциях.

На заре в могильном склепе почудилось робкое шевеление. Движение исходило от цветов, в которых утопала Юля.

Она открыла глаза. В голове шумело. Рядом лежал ее Рома, он не дышал. В воздухе стоял тяжелый дух метанола, рядом валялась бутылка, недопитая Ромой.

В склеп вбежал Лоренцо, увидел Юлю и вызвал «Скорую».

Юля, у которой была аллергия на бухло, выпила содержимое бутылки и упала раненой птицей рядом с Ромой. Глаза ее закатились, аллергический шок и внезапная смерть. Звук падения разбудил пьяного Рому, он проснулся, надеясь, что уже в раю и они уже соединились с Юлей.

Но организм сообщил Роме, что это не рай. Рома выбежал из склепа и понял, что он остался один на этом свете. Взял испачканную кровью визажиста отвертку и ударил себя в самое сердце, вложив в удар все свое отчаяние и нечеловеческую силу любви.

Все кончилось...

Их похоронили рядом, обе семьи плакали вместе. Так смерть примирила враждующие дома. Еще долго в городе люди говорили. «Нет повести печальнее на свете...»

Смерть двух подростков имела большой резонанс: сняли министра за просчеты в народном образовании, история попала в «Пусть говорят», Андрей Малахов все рассказал лучше Шекспира, вся страна плакала. Малахов в финале уронил притворную слезу на ухоженную небритость и получил ТЭФИ.

Горячая новость в ООО «Снасти»

На следующий день после общего выезда на ВИП-озеро для тест-драйва, устроенного фирмой – поставщиком нового спиннинга на базе нанотехнологий, произошло невероятное. Спонтанно образовались две пары: Гайфулина – Горелов и Журавлева – Галкин.

Вся фирма разглядывала фотографии неизвестного папарацци, который запечатлел, как Горелов умчал на своем байке Гайфулину и как Галкин кормит Журавлеву с руки малиной из магазина «Глобус Гурмэ».

Коллектив кипел, до этого ничего подобного не было, когда-то давно – ветеран компании Барташев сквозь зубы говорил про это – в Пензе, в далеком 96-м году, региональный руководитель «Снасти-Пенза» поймал на свой крючок мелкую рыбешку из бухгалтерии, и фото их рыбалки передали крупному карасю из налоговой, который числился мужем попавшейся на крючок.

Вышло крайне некрасиво: карась и пара его дружков (жестких щук из местного РОВД) оторвали рыбаку блесну и заодно набили ему морду по самые жабры.

Но в центральном офисе такой заразы сроду не водилось, а тут сразу два случая, почти эпидемия; офис гудел.

Гайфулина и Горелов на работу не вышли, на звонки не отвечали, что-то явно случилось. В обед все открылось: они попали в аварию. Что сделала Горелову Гайфулина по дороге, никто не знал, но авария была, следы ее зафиксированы на лице Гайфулиной и даже на коленях.

Она приковыляла после обеда и сказала, что их подрезал кто-то, но не все поверили. Горелов лихо водил байк, и его подрезать было невозможно. Тут крылась какая-то тайна.

С парой Галкин – Журавлева все было более-менее понятно. Журавлева вышла на работу, но молчала, как Зоя Космодемьянская во время пытки.

Ее беспокоить никто не посмел. Она была руководителем и свободной женщиной. То, что она выбрала Галкина, всех слегка удивило: он был ниже ее ростом (и на социальной лестнице тоже), она считала себя православной, и мезальянс с человеком Ветхого Завета, тем более с женатым, ее не красил, духовник тоже не одобрил бы ее.

Но до воскресенья было далеко, и она собиралась согрешить еще пару раз, а потом показаться.

Галкин ничего об этом не знал, он лежал дома с пивом и переживал жуткий подъем. Во время выезда на природу в нем разыграло ретивое, и он посмотрел на Журавлеву через призму литрового «Белого золота» и нашел новые грани в Журавлевой, ранее не замеченные.

Журавлева выбросила истерзанную подушку, смыла с себя товарища по работе и пошла на службу летящей походкой. Переполненная тестостероном сотрудника ООО «Снасти», ловца душ и тел, менеджера среднего звена Галкина.

У другой пары, Гайфулина – Горелов, ситуация была сложнее; Горелов лежал в больнице, Гайфулина страдала на расстоянии, в больницу ей было нельзя: там жена и теща Горелова в суточном режиме, сменяя друг друга, выхаживали его. Гайфулина писала длинные смс и выплескивала словами свои эмоции, накопившиеся после падения с байка.

Она писала Горелову, что это головокружительное падение изменило ее жизнь, она в полете поняла, что лететь по жизни лучше, чем прозябать в ожидании неизвестно кого, в мечтах...

Она через смс все поведала ему о своей жизни: о том, что детство у нее было непростое, все сама, училась, работала, каждый шаг по жизни стоил усилий, все пытаются залезть в трусы и душу, а она хочет любви, и вот она пришла, но как снять барьеры и мышеловки, расставленные судьбой?

Горелов попросил прийти в 21 час, когда режим ослабнет, и он прихрамает на служебный вход и выйдет в садик, подкупив охрану клиники десятью парами бахил, которыми они приторговывали.

Она пришла в назначенное время, взбудораженная предстоящим.

На крыльце стоял Горелов в спортивном костюме, с ногой, закованной в гипс, в руках его блестел никелированный костыль, при луне он выглядел самурайским мечом, и Гайфулиной даже стало страшно. Но вспомнив, как Ума Турман билась за свое счастье во второй части «Убить Билла», Гайфулина бросилась на крыльцо навстречу судьбе.

Горелов одной ногой и рукой увлек коллегу за бойлерную. Он еще днем провел разведку предполагаемого сражения и высмотрел чудесную нишу, где должны были развернуться основные события.

Гайфулина отдалась воле чувств, Горелов и с одной ногой управлялся неплохо, он управлял Гайфулиной, как байком на сложной трассе, и они вместе доехали до финиша, да так здорово миновали финишную прямую, что Горелов даже потерял равновесие и упал от изнеможения, сломав при этом вторую ногу, запутавшись в брюках.

Гайфулина как кризисный менеджер сразу пришла в себя, организовала транспортировку партнера в хирургическое отделение с помощью коррумпированных охранников и исчезла до приезда родственников Горелова.

Две сломанные ноги на время остудили чувство Горелова, и он замер на больничной койке с двумя гирями, а Гайфулина уползла в свою раковину, где и пребывала в соплях и расстроенных чувствах.

Офис накалился от созерцания этого сериала. Пара Журавлева – Галкин вызывала больше сострадания и живейшего интереса, Журавлева ходила с гордо поднятой головой, с синяками под глазами от сладкого изнеможения и даже на время потеряла контроль за уровнем реализации снастей, продажи упали, а самооценка Журавлевой достигла пикового уровня.

Руководитель ООО Пряжкин заметил нездоровые тенденции в коллективе, вызвал своего верного помощника Савраскину, и она в деталях обрисовала коллизию, взволновавшую коллектив. Коллективу грозила беда, и босс разрядил ситуацию. Он отправил Журавлеву в Пензу пощупать региональное отделение. Она вяло посопротивлялась, но поехала. Прощальная ночь с Галкиным накануне командировки была упоительна. Галкин, сославшись на милицкий произвол, не пришел домой и дал Журавлевой незабываемые эмоции, и себя не обидел. Журавлева оказалась такой Марьей-искусницей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она показала Галкину экстра-класс, он даже и не подозревал, что она такая мастерица. Она знала, что может дать больше, но Пенза стала на пути в страну Камасутры.

Горелов лежал прикованный к постели, обе ноги закованы, рядом жена, готовая убить за приключения своего Казанову.

Нянечка, подкупленная ею, донесла на него в деталях и даже показала жене нишу за бойлерной, где Горелов сломал ногу и свою семейную жизнь. Жена решила подождать, пока он встанет на ноги, а потом убить его своими руками. Но пока она его выхаживала и кормила, как гуся на фуа-гра.

Фотографию Гайфулиной она нашла «В Контакте», распечатала и сожгла на курином помете, предварительно выколов сопернице бесстыжие глаза и отрезав ноги по самое не могу.

Гайфулиной видеть своего любимого было нельзя, и она рыдала на рабочем месте, перелистывая свои воспоминания о встрече за бойлерной, не скрывая слез, бродила по офису, рассказывала всем желающим свой план создания семьи и показывала УЗИ ребенка, так похожего на Горелова.

Жена Горелова ушла покурить, и Горелов послал смс своей партнерше по членовредительству, что он все понял и больше им не надо встречаться, слишком много жертв, не стоит испытывать судьбу.

Вечером в офисе был юбилей главного бухгалтера; накрыли, как всегда, в зимнем саду, напились быстро, начали играть в фанты: главный заказал Гайфулиной танец на столе – он видел это на Кипре десять лет назад, и ему понравилось.

Гайфулину упрашивать не пришлось, она сама залезла на стол и всю страсть брошенной женщины вложила в танец. Она ловко переступала через блюда и салаты и танцевала соло раненой птицы из Красной книги, подстреленной браконьером.

Все онемели, боялись смотреть, отводили пьяные глаза, только Галкин смотрел не отводя взгляда. Птица сама летела в силки, она устала и упала в руки Галкину. Все поняли, что в финал вышли Галкин и Гайфулина, завтра будет что обсудить.

Письмо Анне Чепмен

Дорогая Анечка!

Позвольте мне, старику, Вас так называть, потому что мой возраст и плохая память позволяют мне причислить к своим всех, кто моложе меня, обращаться уменьшительно и ласкательно.

Ваша история потрясла меня, она даже перепахала меня, как осеннее поле, полное несжатых злаков, нахлынули разные мысли, которыми я хочу с Вами поделиться, выплеснуть, так сказать, все хорошее из себя и истребить в себе все стыдное, коего в каждом из нас немало.

Я среднестатистический пенсионер с пенсией в три тысячи рублей, но обожаю искусство.

Жить на три тысячи рублей и при этом никого не убить – подлинное высокое искусство.

Сделать грешное мне мешает только природная лень – так я думал раньше, а теперь оказалось, что это совсем не лень, оказалось, что я латентный даос и практикую это учение на подсознательном уровне.

Я выяснил, что в последнем воплощении я был шаолиньским лазутчиком, а до пенсии работал на доверии в лаборатории внезапного выброса газов на улице Сторожевой в Лефортове, в Институте низких частот высокого напряжения, аффилированном с газовой отраслью.

Много газа испустили мы для своих опытов – и ничего не открыли, но отрицательный опыт в науке – тоже результат, как говаривал мой руководитель – единственный кандидат наук Либерман в нашем академическом гнезде, попивая кофе «Ячменный колос» с размокшими сухариками «Звездочка».

Так мы добрели с Либерманом до пенсии, и он тупо уехал к внукам к пустыню Негев, где успешно охраняет стоянку поливальных машин, с пенсией, достойной жизни даже в цветущей долине.

Ну, бог с ним, с Либерманом, он и здесь был говном, и я ему не раз жестко и резко, по-партийному, врезал при распределении праздничных заказов – он всегда брал себе пакет с черной икрой и красной рыбой, оставляя мне непрестижную красную икру и белую рыбу неизвестного происхождения.

Говно этот Либерман и предатель, член КПСС, а сбежал после путча в 91-м, а я из-за него в партию не попал. Он попал, сука, по квоте для нацменьшинств, а я, представитель титульной нации, не попал в партию и всю жизнь просидел за его спиной, даже в Болгарию не съездил по льготной путевке. Я не антисемит, но все-таки они очень противные.

Желание работать в органах у меня появлялось два раза, в первый раз после армии я встретил на Птичьем рынке своего однокашника Беляева, который синел в лучах осеннего солнца мундиром капитана ОБХСС и сверкал золотым шитьем погон, ослепляя меня эполетами и ботинками югославского производства, в них отражалось даже небо.

Я сразу забыл, что пришел купить себе мохнатого друга, и увлекся Беляевым. Он, кусая дефицитную в ту пору вафлю «Лесная быль», сквозь зубы доложил мне, что кушает он в ОБХСС неплохо, оклад, форма, бесплатный проезд, щенки и попугайчики бесплатно (он курировал Птичку), и корм имел неплохой.

– Иди к нам, – вальяжно сказал мне тогда Беляев и ушел собирать подать с продавцов мотыля.

Я загорелся и утром, даже чаю не попив, двинулся в отдел кадров районного УВД.

За дверью с табличкой «Начальник» меня весело встретил полковник с глазами уставшей совы. На правой руке у него, на костяшках пальцев, синела накладка «Коля». Я крайне удивился: на табличке перед кабинетом чернело на белом «Каблуков Евгений Сильвестрович». Я сверил с накладкой – выходила хуйня. Для корректности я просто обратился, как в армии: «Товарищ полковник, хочу служить Родине в подвалах Таганского гастронома и там, среди

копченостей, окороков и охотничьих сосисок, изводить, как крыс, расхитителей социалистической собственности».

Я сказал, полковник услышал, потом я подал свои бумаги, мне сказали зайти через неделю, и я ушел, переполненный ожиданием и половой энергией, накопленной в армейских буднях, как масляный конденсатор из приемника «Ригонда» рижского радиозавода.

Девушка моя оказалась дрянью, не дождалась своего сокола из войск мотострелкового профиля и стала открыто жить с мясником Рогожского рынка за вырезку и мозговые кости для моей бывшей собаки. Я не Карацупа, и своего Мухтара оставил девушке, чтобы он не скучал и заодно присматривал за невестой, но пес мой тоже скурвился и поменял меня на кости и стал лизать сапоги новому хозяину, как полицай в период немецко-фашистской оккупации. Все они суки, скажу я Вам, Анечка, и причем продажные, но сейчас не об этом.

Когда я пришел за ответом, полковник «Коля» был невесел. Он сухо сказал мне, что я не прошел проверку, и таких нечистоплотных людей во внутренние органы не берут.

Я сразу понял, на что он намекает: я погорел на письке Куликовой.

Детская шалость в трехлетнем возрасте стала стеной между мной и органами. Сдал меня, конечно, Мартынов, в этом сомнений не было, севший первый раз за зоосексологию в колонию для малолетних, за зверские опыты по опылению одной хохлатки из курятника Порфирьевны, ветерана НКВД-МГБ-МВД.

Покушение на изнасилование хохлатки посчитали нападением на внутренние органы, и Мартынов ушел в колонию по тяжелой статье.

Там он и рассказал следствию о нашей детсадовской троице.

Я в три года полюбил Куликову всем сердцем, на прогулке я нашел ягодку-земляничку и вставил Куликовой в сокровенное место, а Мартынов, мой враг и соперник, скрытно подполз и жадным ртом съел ягодку и заодно убил мою любовь, я стал третьим лишним. Так я научился считать. В тот раз меня впервые не взяли в органы, я остался на обочине, как улитка на склоне.

Как меня не взяли второй раз, я напишу позже, устал я сегодня, разбередили Вы меня, Анечка...

Латентный даос, пенсионер Рувим Кебейченко.

дорогая анечка!

я продолжу свою Илиаду, в смысле Одиссею моей второй попытки вонзиться в органы и исполнить свою заветную мечту.

Я и раньше в те сладкие советские времена следил за своей Розой, так просто, для навыка, повода она не давала, хотя один раз было.

Сейчас, когда дети выросли и меня с ними связывает только кредитная карта, я признаюсь вам, что один раз я ее поймал.

Вы не удивляйтесь, это было у нее с Либерманом – моим начальником, научным соратником и конченной тварью. Мы сейчас, конечно, с ним не пересекаемся, я живу, как и раньше, по Эвклидовой геометрии, а он всегда жил по геометрии Лобачевского, и наши параллельные прямые (тогда он еще маскировался под советского человека) пересеклись на диване, в гостях у Кирилюка, начальника нашего Первого отдела, который отмечал полувековой юбилей в своей новой квартире на улице Почтовой.

Нас с Либерманом он выделял как интеллигентов, хотя какой, на хер, Либерман интеллигент, так, «образованщина», все по верхам: немножко Северянина знал, Галича пел домашним голосом и на десерт мог прочесть наизусть два стиха Мандельштама, и все...

А вот моя Роза, хотя и работала дефектологом в детском саду, была выпускницей техникума культуры в городе Кинешме.

Она по праву считала себя опорой духовности со времен Киевской Руси, и я с ней был согласен, как не согласиться.

Из консерватории не вылезала, могла «Тамань» прочитать на одном дыхании, вот какая у меня была Золотая Роза, но попала в сети этого таракана Либермана, повелась на Северянина и песенку про гражданку Парамонову, так и взял он ее за живое, псевдодиссидент липовый.

Роза и повелась и прилегла у Кирилюка в кабинете, когда он сети свои расставил, а я в неведении был, в шахматы играл с Кирилюком, в блиц, с форой. У Кирилюка на зоне один мастер сидел, сектант из Литвы, так там он его надточил «—e2-e4».

Так вот, захожу я в спальню, запах Розы меня привел, как слепого Аль Пачино, захожу после поражения 12:10 и вижу, как Роза грудь вздымает, а она волнуется, как Черное море, юбки уже нет, Либерман ужом вьется. Я ему говорю, как достойный джентльмен: «Их мусс» (Я должен, но ты?). Либерман все понял, он идиш знал, а Роза сознание потеряла, но я ее простил, она под наркозом была, жертвой стала этого «Вольфа Мессинга».

Хотел уволиться, а потом подумал и не стал, буду я место терять в академической среде из-за всякой дряни.

А Роза, ласточка моя, после этого крестилась и покаяние получила от модного батюшки Геннадия, который служил в Леонтьевском переулке, ныне улице Станиславского. Смешно даже, он кричал: «Не верю!» – а на нем храм стоял, чудеса!

Ну ладно, это лирика, а дело так было.

Я на ночь взял Тору у либермана. Он удивился, но дал; думаю, у него задание было от ихнего Моссада – вербовать незрелых неофитов, некрепких духом.

Почитал я на ночь, чушь какая-то, любят эти евреи все запутать, заснул, а книга эта ихняя так меня ударила по переносице, что залился я юшкой красной.

Роза – воробышек мой. Чуть кровь остановила йодом и порцией «Тамани», чуть заснул, как стало мне сниться, как Авраам родил Якова, а потом Иов в ките приплыл, и я проснулся после такого кошмара и до утра не заснул, только глаза закрою – опять Адам с лицом Либермана мою Розу Евой называет и в сад зовет, тут кто заснет, только зверь дикий, а у меня душа тонкая, как наночастица, скажу вам, Аня, откровенно, вдруг понадобится мятущаяся душа делу нашему справедливому.

Через неделю меня озноб бить начал, не звонит Каблуков, целую неделю не звонил, я уже все передумал, может, в Центре какая заминка, может градус международных отношений изменился?

Оказалось проще простого: Каблуков позвонил и сказал, что картошку ездил копать на Брянщину, мамке помогал заготовки делать, и назначил встречу на конспиративной квартире в гостинице «Северной» на Сущевском Валу.

Десять капель бергамота

В английской традиции файф-о-клока в чай добавляют ровно десять капель бергамота. Такая точность в рецепте многое объясняет в ментальности британцев.

Я сам видел в отеле «Ритц» на Вандомской площади Парижа, как потомок Кромвеля, благообразный господин, пил послеобеденный чай из гомеопатической чашечки и выговаривал бармену за то, что он по французской безалаберности перенасытил его чай на две капли ингредиента, и бармен извинился, искренне не понимая существенной разницы в две капли.

Мой товарищ по путешествию – в прошлом мини-олигарх, который в этом отеле прожил три миллиона долларов в тучные времена, – сказал мне, что в свое время, когда он был лучшим гостем системы «Ритц» и давал чаевые в размере стоимости съюта, он научил местного повара делать картофельное пюре и подавать его на гарнир к фуа-гра со свежим репчатым луком на завтрак с литром водки – и в этом наш особый путь.

Богатые люди новой России иногда ведут себя как нашедшие кошелек: первое ощущение нечаянной радости, потом, когда оглядятся по сторонам и убедятся, что погони не будет, содержимое присваивается, и уже кажется, что ты всегда был умным и богатым. А те, кто не успел поднять кошелек, просто лохи, не умеющие использовать свои шансы в рыночной экономике.

От беспокойства за свое добро все беды. Каждый хочет отнять, тут и государство с карающим мечом, и неформальные силовики, все норовят отнять и радость обладания отравить, вот и не пьется «Шато марго», и омар в рот не лезет на Лазурном Берегу.

В лондонском дворце, в горном шале и тысячеметровом доме на Николиной горе холодно и мрачно; комнат много, а не уснешь, детей филиппинские няньки водят, по дому в трусах не погуляешь.

Толпа обслуги из посторонних людей мелькает, пукнуть невозможно, жена волком смотрит, следит, а сама спит по очереди с водителем и тренером по йоге.

Любовница заколебала – дрянь малолетняя, толку от нее немного, а все дай-дай, сам мучаешься, кого любит она, тебя, плешивого, или кошелек твой – ее эрогенная зона.

Деньги твои далеко, в офшорах, в бумагах, то ли есть они, то ли дикий ковбой Доу-Джонс унес их, скрывшись в песчаной буре. Вчера ты был на коне и стоил восемь, а сегодня ты улетел и карты твои заблокированы, и нечем заплатить за сено в личной конюшне...

И оказывается, что платить надо, кругом сплошной маржин-кол по всем направлениям, и сидишь ты на кухне для прислуги, и сам варишь себе сосиски, такие вкусные с кетчупом, и пьешь пиво «Очаково», как когда-то в общаге на Лесной, и смотришь по маленькому «Шилялису», как рухнули последние твои бумаги на бирже азиатского дракона.

Мне могут сказать, что это зависть и злорадование, классовая ненависть и прочее.

Но это совсем не так. Как же хорошо спится в двушке в Митино после зарплаты! Ты едешь в метро и гладишь через карман свои законные 25 тысяч рублей – и это только аванс, а завтра ты сам на своем поношенном «пассате» поедешь за сто километров по Горьковской дороге на свою «фазенду» и будешь лежать все выходные.

И сам топить баню, и жарить мясо сам, не хуже, чем стейки в «Гудмене», а потом на великах с детьми на озеро, и ни одна тварь не помешает тебе выйти без трусов ночью на твои шесть соток и справить нужду, глядя на луну, под зуд комаров и шелест сверчков.

За все надо платить.

Укол прошлого

Болтконский лежал дома с простудой. Он редко болел, и легкое недомогание вводило его в ступор. Две вещи он переносить не мог – смотреть, как болеют его дети, и свои сбои в организме, они выводили его из себя, но ненадолго...

При температуре 37,6 он ложился лицом к стене и ждал смерти, жена знала его причуды и не трогала: таблетки он не пил, считал, что сила организма сама выработает противоядие инфекции, и ждал, вместо того чтобы принять таблетку и забыть через пару часов о недомогании.

Когда болела жена, он не переживал, не сочувствовал – не мог.

На сигналы ее организма у него прибор сострадания не работал, он даже раздражался, когда она ему рассказывала о своем гемоглобине и уровне ферментов, он помнил пословицу – муж любит жену здоровую, а сестру богатую. Сестер у него не было, а жена была, и когда она болела, он чувствовал себя подлецом, не жалел ее. Она обижалась, а зря: если у человека нет руки, просить его отнести ее на руках на пятый этаж бессмысленно.

В такие минуты Болтконского всегда посещали грустные мысли, он считал свою вялотекущую болезнь наказанием за грехи. Их у него накопилось достаточно, но маленький грех не вызывал поражения громом, мини-грехи карались легким недомоганием.

Наказание болезнью имело основание: его Даша в очередной раз плакала от его словесных упражнений по поводу ее глупой жизни с «ним» – так он называл ее бойфренда, с которым она жила после их одиннадцатого разрыва на все времена.

Вот и на этот раз Болтконский выпил и стал спрашивать ее, как она спит со своим хахалем и какого размера у него член. Даша знала все, что будет дальше.

Раньше она сразу начинала плакать, а в последнее время стала отвечать резко. И говорить злые слова о той, с кем спит он, не забывая при этом сказать, чтобы он смотрел почаще себе в штаны, а не обсуждал чужие члены.

Далее все посылали друг друга, а болезнь дремала рядом и пришла как наказание за длинный язык: он опух, и глотать стало больно...

Болтконский лежал и думал: ну вот, сейчас он умрет, а она не узнает, что он умер, и потом страшно пожалеет, а его уже не будет.

На похороны она не придет, кто ее пустит, у гроба стоят только законные, выслужившие срок, даже старых жен, бывших законных, не пускают проститься последние жены, не хотят делить с другими свою скорбь.

Ее тоже никто не пустит, вот пусть и страдает, пусть потом знает, кого потеряла. стало легче, он нашел способ отомстить и довольный заснул.

Ему приснились похороны одного народного артиста, у которого было семь жен, и они все пришли проститься с ним, семь лучших актрис эпохи, которая закончилась. Они все стояли у его гроба и ничего уже не делили, смерть их общего мужа соединила их, и они стояли и плакали, каждая помнила его своим, и даже последняя была рада, что они пришли, и даже гордилась, что она закрыла ему глаза.

Неприятный сон про покойников заставил проснуться, Болтконский встал, горло больше не болело, наказание кончилось. Он опять лег, но сна не было, странная картинка на стене появилась от дворового фонаря – там лампа, видимо, приказала долго жить и моргала из последних сил. На стене появились блики, напоминающие пионерский костер, языческий привет в православной стране, которая семьдесят лет жила в грехе и без бога.

Бог был, его звали разными именами генеральных секретарей компартии, но хранить страну от бед они не могли и не умели, так и маялись семьдесят лет, и творили, не ведая, что творят.

Болтконский тогда работал в пионерском лагере, воспитывал детей, подрабатывал во время отпуска – оздоравливал на природе собственного ребенка, который крутился с ним в лагере от завода пишущих машинок.

пионеров готовили к коллективной жизни: они вместе спали, ели, веселились, и Болтконский тоже закружился в хороводе спартакиад, конкурсов на лучшую поделку из шишек и так далее – в рамках фантазии старшей пионервожатой, девушки немолодой, предпенсионного возраста, бездетной и безмужней, положившей свою жизнь на воспитание чужих детей.

Был еще директор лагеря, старый педофил с одной рукой, и врач, его поделщик, они оба очень любили детей, особенно девочек постарше, и много лет справляли свою нужду с пионерками, достигшими физической зрелости.

В каждую смену у директора и врача были романы с детьми, особенно им нравились девочки из детского дома, которые из-за своей незащитности испытывали тягу к взрослым мужчинам, напоминавшим им отцов, которых у них не было.

Все эти невинные игры старых козлов не нравились Болтконскому, но он молчал. брезговал, не пил с доктором бесплатный спирт у него в домике, не хотел прикасаться к ним, но в колокол не бил, общественность не подымал, да и общественность молчала – она воровала у детей понемножку и ни о чем не беспокоилась.

Смена заканчивалась, оставалось только провести костер и уехать домой с ребенком и мешком продуктов, которые делили между работниками лагеря.

Все, что оставалось от детей, делили по-братски, на троих: директор, повар и врач, а остальной мелочи доставалась крупа и тушенка. Все это ехало в семейные закрома, в период некоторых проблем с продуктами питания при развитии социализме такое ценили, не думая, у кого это украдено.

Весь день царил праздничная суета: были торжественная линейка и концерт, потом все зажигали на дискотеке. Там пионеры прощались друг с другом и не могли разорвать жарких объятий. прощальные танцы были только медленными, особенно ценилась песня «Отель Калифорния» – за продолжительность и страсть.

Болтконский зорко следил, чтобы его подопечные не сбежали в кусты и не натворили бед, за которые потом их родители отвернут ему голову.

Дети его любили, он не доставал их, не мучил, позволял мелкие нарушения режима. вел себя как человек, а не как старший по бараку на зоне.

Пришло время идти на костровую поляну. Там уже два дня подряд собирали хворост и сучья. Под руководством физрука конусом сложили десятиметровую кучу, которая потом будет гореть, и все будут визжать от радости, когда пламя взметнется к верхушке и озарит поляну огненными всполохами. жар костра будет обжигать, а дети будут петь песни и танцевать дикие танцы, как в племенах экваториальной Африки.

Во время тихого часа Болтконский выпил с коллегами в столовой немного вина, и настроение приподнялось, но разума он не терял.

Его отряд был старшим, пятнадцатилетние дети сидели в траве парами. мальчики где-то выпили вина, девушки нарядились, как подмосковные проститутки, и им костер был не нужен. Еще вчера они ходили на кружок мягкой игрушки, а в эту ночь они сами были мягкими игрушками в неумелых руках.

Болтконский с грустью смотрел на них и вспоминал себя в их возрасте. Он тоже ездил в лагерь, и тоже пил вино за туалетом, и там же, в первый раз на таком костре, расстегнул лифчик своей девочки. Он в тот же год бросил школу, переполненный новым знанием.

Он присел в тени и засмотрелся на языки пламени. Кто-то нежно обнял его за плечи, прижался немаленькой грудью и закрыл ему глаза мягкими ладошками.

Болтконский даже не догадывался, кто это мог быть. в лагере он был с женой, шашни ни с кем не заводил, но это касание чужого тела распалило его, он почувствовал, что эрекция

накатила в полный рост, отнял пылающие ладошки и увидел одну из своих воспитанниц – шестиклассницу, которая была в его отряде. Девочка поцеловала его в щеку и убежала к своим.

Болтконский оторопел. Такого с ним не случилось. может, он педофил (пронеслось у него в голове)? Может, он заразился от этих козлов, может, это инфекция, и теперь он будет желать детей? Ему стало страшно, его четырехлетняя дочь сидела рядом, смотрела на огонь не отрываясь. папа был здесь, скоро придет мама, впереди целая жизнь, дочь еще не знает, что папа скоро уйдет к другой тете, но это будет потом, а пока горит костер, в котором догорают чьи-то надежды и вспыхивают новые.

Потом Болтконский прочел Набокова про Лолиту и успокоился. То, что он испытал, не шло ни в какое сравнение с упражнениями героев. Он успокоился, но ощущения не забыл. Потом оно догнало его: когда он встретил Дашу, он тоже почувствовал себя педофилом, но ей было 25 лет, а ощущение было, как на том костре много лет назад.

Вот уже три года Болтконский горит на этом костре, Даша стала еще старше, но он не может ее забыть. Стоит ему подумать о ней – и сразу в нем загорается костер, и тело его слышит призыв охотничьего рожка, и он бежит на ее зов, как раненый марал, почуявший запах своей самки.

Болтконский только один раз был дома у Даши, она затащила его показать свою гавань. Там она бывает после шторма, в который они попали сразу, на первой встрече.

Он уже не верил, что у него снесет мачту и его старая галера увидит после всех штормов изумрудную бухту с девушкой на берегу, которая спасет его утлое суденышко, потрепанное в неурядицах личной жизни.

В ее бухте Болтконский обрел покой на время, и потом они уже вместе плыли по морям и волнам, шторма и цунами били их о скалы. но сколько было изумрудных бухт, в которых они отдыхали после крушений, а потом они возвращались домой, каждый в свою гавань, и жили только воспоминаниями. Вот так Болтконский вспомнил свой первый и последний визит к ней в дом, где увидел ее в старинном зеркале.

В обычной двушке в рабочем районе он зашел в подъезд, где пахло кошками и мочой известного происхождения. В городе, где негде было поссать даже за деньги, это неудивительно.

Квартирка была чистенькой и простенькой, никаких излишеств: диван-кровать, светильник в форме желтого шара времен магазина «Белград» и к нему два желтых пластиковых кресла с мягкими подушками, писк моды конца семидесятых, жалкая копия западной жизни по рецептам художников Рижской киностудии.

Для атмосферы Даша зажгла индийские свечи, сделанные армянами в кустарных условиях.

Свет она потушила, свечи приятно пахли – сандалом и носками, давно лежавшими под кроватью. Даша ушла делать Болтконскому кофе с кардамоном, а он увидел в бликах самодельной свечи старинное зеркало на стене.

Зеркало было овальным, в простой дубовой раме. Оно мерцало в сумрачном свете.

За много лет оно потеряло былой блеск, амальгама, наверное, стерлась в некоторых местах, и зеркальная поверхность искажала действительность.

Болтконский встал, подошел поближе и увидел свое отражение. Ему в лицо смотрел почти незнакомый человек.

На лице незнакомца появились усы из прошлого, на нем был сюртук инженера путей сообщения, брюки и лакированные ботинки выдавали в нем щеголя, он прищуривал глаза. Рядом с ним стояла женщина в кринолине, с открытыми плечами и копной рыжих волос, собранных в целомудренный пучок. В волосах виден был гребень с перламутром старинной работы. Болтконский видел его где-то совсем недавно, как будто бы минуту назад. Вгляделся пристально и узнал женщину – это была Даша. Она вошла в комнату в джинсах и футболке

с надписью «ОК!», в руках ее была шербатая фарфоровая чашка с каким-то гербом. Болтконский сравнил живую Дашу с отражением в зеркале и понял, что видит одно и то же лицо, тот же лик, тот же профиль, та же стать, и поворот головы, и подбородок. Даша поставила чашку на столик, ровно, не сгибая спины, присела, как могут только балерины, и встала рядом с Болтконским. Она не удивилась, видя, как он смотрит в зеркало и даже дальше.

– Это моя прабабка, а это прадед. Это зеркало осталось от них, они жили на Разгуляе, у меня нет ни одной их фотографии. Я иногда смотрю в это зеркало и вижу их, как в немом кино. Говорят, что я похожа на нее, а вот прадед похож на тебя, я сразу тебя узнала, вот только усов у тебя нет, а мне нравятся усы. Ты отпустишь их, когда придешь сюда навсегда, – посмотрела на него смущенно. И он почувствовал, как у него под носом зашевелились несуществующие усы.

Бармен Сергей

Бармен Сергей – скинхед, романтик, он брутален, лыс и покрыт татушками с видами Петербурга: на груди у него Сенат, на спине – Петропавловская крепость и Спас на Крови, на одной ноге – шпиль Адмиралтейства, на другой – шпиль Смольного собора.

Такого чудного вида нет ни у кого в Питере, Сергей такой один, как Олег Тиньков.

Сергей – патриот Питера, и все приехавшие для него – острый нож в сердце. Он раньше носил нож, на всякий случай, и даже порезал одного приезжего из Мурманска, который ссал в Летнем саду.

Сначала Сергей просил его перестать, но тот урод уже не мог остановиться, и тогда Сергей его ударил. Не в сердце, просто полоснул по спине и ушел, даже не посмотрев, как он упал.

Больше Сергей ножом не махал, стал носить кастет, старинный и увесистый. Сергей прятал его в кожаном карманчике у себя на поясе, там еще висел телефон.

Сергей с детства желал ходить в море и даже учился в Нахимовском, но в шестом классе увидел, как в спальне старшие насиловали младших, сбежал и стал качаться, накачал себе приличные «банки» и перестал бояться и пацанов, и зрелых мужиков, которых валил с одного удара.

В армию он не пошел, месяц в дурдоме – и диагноз, позволяющий не служить в армии и на выборных должностях, был у него в кармане.

Денег у Сергея не было, родители, простые люди, были безработными, питались скудно и донашивали вещи десятилетней давности. Сам Сергей носил все черное и зарабатывал разработкой сайтов для ленивых и нелюбопытных.

Основная работа у него была в баре «Конь и конь» – название придумал хозяин, странный мужик, живущий в Таиланде с детьми разного пола из местного населения. Под видом кризисного центра для изнасилованных подростков он их там лечил по принципу «подобное – подобным».

Бар был на проходном месте, и в нем всегда торчали люди. Утром – похмеляющиеся игроки из соседнего казино. Они могли бы выпить там, где у них забрали деньги, но уходили оттуда оскорбленными и раздавленными, и уже в «Коне и коне» заливали свою адреналиновую жажду и зализывали душевные раны.

Так игроки брали паузу перед возвращением домой, это место давало им психотерапевтический эффект, вместе с водкой, конечно, ну как без нее, универсального средства от всех печалей.

Днем приходили люди на обед, серенькие мышки с ноутбуками и грызуны покрупнее, хавающие уже крупные куски из городского бюджета. Часов с пяти начинали ползти труженики офисов, считающие, что после трудового дня надо пропустить стаканчик, как воротила Уолл-стрит или клерки Сити.

Все должно быть круто – и им было круто, когда стаканчиков становилось семь-восемь, и тогда уже они становились самими собой, «Васями» и «Танями» из Вологды и Апатитов, приехавшими завоевывать Питер. Они мечтали жить на Садовой и Морской, и дачи желали иметь непременно в Комарове и в Сестрорецке, и вот этих бармен Сергей ненавидел больше всех.

Он был с ними надменен и груб, не вел утешительных разговоров, как бармены в западном кино, он двигал им стаканы по стойке – они их ловили, как вратарь Третьяк.

Им это нравилось – это было круто, они читали когда-то, что услуга всегда им завидует, и пусть утешается в своей дикой злобе, замешанной на классовой ненависти.

Буржуазия (так они называли себя) даже любит, когда ее оскорбляют, но в гомеопатических дозах. Это как приправа, как соевый соус.

Чтобы утолять свою ненависть, Сергей делал две вещи. Он пел одну и ту же песню, сквозь зубы, бормоча слова только из припева. Песня к нему прилипла еще в пионерском лагере, ее крутили каждый день на дискотеке. Это была полублатная песня, как сейчас говорят, типа шансон, а песня про Синдереллу со словами «Я твое целую тело, а я твое целую тело – Синдерелла, Синдерелла». На самом деле эта песня называлась «Сингарелла», но Сергей всегда коверкал слова, переставляя буквы и даже слоги.

Он много лет называл Кюхельбекера Кюхельблукером, и очень удивлялся, когда его поправляли.

Когда он эту песню услышал, ему было одиннадцать, он представлял себе эту Синдереллу знойной блондинкой без бикини, с лицом Клаудии Кардинале.

Моника Белуччи, на которую дробят теперь все, просто деревенская шлюха против женщины-мечты.

Потом уже, в зрелом возрасте, он узнал, что Синдерелла – это просто Золушка из детской сказки, и тогда он разлюбил свою Клаудию, но словечки из песни прилипли, и когда его настигала ярость, он их пел, пока гнев не уходил, как молния в громоотвод во время страшной грозы.

Вторым по значению лекарством от ненависти была администратор Даша. Когда Сергея накрывало, он давал ей знак, она заходила в мужскую кабинку, и он без слов драл ее там быстро и жестко. Они расходились, и он успокаивался на время.

Даша была чужой женой и матерью двух детей, хорошим управляющим и православной женщиной, но свои походы в мужской туалет себе объясняла как бесовскую одержимость и таким приятным способом изгоняла из себя беса. В остальном ей себя упрекнуть было не в чем. Они договорились со своим подчиненным, что дальше мужского туалета их отношения не выйдут, и никаких послаблений по службе она Сергею не давала, а так, в минуты роковые, давала и даже любила в нем звериную жесткость. Дома все было по-другому, пресно и лениво, ну, как у всех после десятка лет, прожитых вместе.

В баре Сергей ни с кем не дружил, только Дэвида отмечал своим вниманием, хотя тот был его полным антиподом.

Дэвид называл себя афроевреем, фамилия его была Бурумби, масти он был очень загорелой, носил бородку, как у африканских юристов и врачей. Телосложения был хрупкого, истеричный голос и скандальность по любому поводу выдавали в нем латентного гея.

Несмотря на столько отрицательных ингредиентов, Сергей с ним поддерживал отношения и часто разговаривал после работы в соседней кофейне, где оба любили посидеть и побаловать себя пирожными «Эстерхази» и кофе капучино в больших чашках.

Судьба Дэвида была причудлива, как ночь в зоопарке за Полярным кругом.

Мама Дэвида, еврейская пианистка, родила его от марокканского еврея, студента мединститута, который потом уехал к себе в Марокко и сигналов не подавал.

Дэвид был полноценным евреем, но его все звали «черножопым», он доказывал сначала во дворе, что он еврей, потом в школе, но все его усилия были тщетны. Объяснить это в Питере и в пригороде Ломоносове, где он жил почти постоянно у бабушки, было невозможно, черный еврей в культурной столице было «ту мач».

Дэвид уехал к своему папе в Израиль, куда тот перебрался из Марокко. Мама была не против. На дворе был 93-й год, и она стала выступать на корпоративах, играть голая сонаты Шуберта, и даже имела успех в отдельных частных компаниях и клубах для малообеспеченных – туда ходили люди, не имеющие денег на стриптиз. А тут все вместе – и культура, и обнаженная натура, высокохудожественно и недорого.

Особенную бурю восторгов пианистка вызывала во время поклонов. После каждой сонаты она кланялась передом и задом, в этом была ее главная фишка. Зарабатывала она неплохо, и в личной жизни ее наступил крутой поворот: у нее начался роман с арфисткой из филармонии, крупной женщиной, которая щипала ее душевные струны весьма умело.

Дэвид в Израиле стал русским, он опять не попал в резонанс с основной массой. Язык ему давался туго, русские евреи тоже считали его «черножопым», а марокканские из папиной родни своим не считали. Так он и остался одиноким камнем среди бесконечного песка, работал в баре «Лондон» на берегу моря, посетители были молодые люди из разных стран, ходившие в этот бар из-за привычной еды, не принимая еврейскую и арабскую. Там Дэвиду было комфортно, но пришла пора служить в армии, он не захотел защищать новую родину и уехал в Питер, где жизнь стала налаживаться.

Дэвид вернулся, мать удивилась, и они стали жить вместе, но вести раздельное хозяйство, каждый жил на свои «баблосы».

Дэвид придумал себе легенду, в которой он твердо определил себя черным, и жил как черный парень с идеологией черного расиста. Тут они с барменом нашли общую платформу: оба считали, что Питер – особое место, цивилизационный пуп мира, здесь, по их мнению, мир открыт космосу, и город транслирует месседж, и они ответственны за то, что город транслирует во вселенную. Если иные миры видят этих уродов, а не прекрасных, духоподъемных петербуржцев, воспитанных на поэзии Серебряного века и на божественной архитектуре великого города, то нужно очистить город от такого мусора. Блистательный Петербург должен явить достойный пример питерской цивилизации.

В таком бреду Сергей и Дэвид проводили вечера в кальянных, где их знали и как своим всегда заряжали настоящую траву, а не дерьмо.

В последнее время Сергей и Дэвид очень возбудились: Газпром решил воткнуть свой четырехсотметровый хуй-небоскреб в тело города над Невой.

Такого блядства патриоты не могли простить и решили отомстить транснациональному спруту, слоган которого – «Мечты сбываются».

Степень этой наглости взорвала им мозг. Когда люди всех имеют, продавая национальное достояние, и при этом еще не стесняются выставлять напоказ свое богатство в нищей стране, их борзость вызывает жажду мщения. Сергей и Дэвид стали разрабатывать план.

Взрывать и поливать парковку Газпрома говном они не собирались. Отмели эту идею сразу, сидеть в тюрьме никто не желал, попасть под мочилово охраны тоже охоты не было.

Они нашли в Интернете парнишку, который прославился тем, что нарисовал на Литейном мосту член: он при разводе мостов вырос и уперся в Большой дом. В Большом доме, увидев член во весь мост, опешили и решили бурю не поднимать. У них под носом прошла диверсия, а они проморгали.

Парнишка отозвался сразу, Сергей и Дэвид провели с ним пару видеоконференций и решили произвести инновационный удар по главному офису спрута на улице Наметкина в Москве.

Договорились с фирмой лазерного дизайнера и предложили им ролик показать на сияющих поверхностях фасада главного офиса.

Сюжет был прост и гениален, парнишка сделал видео, где кукурузный початок чудо-небоскреба превращается в член.

Ночью из фургона компании лазерных эффектов стали проецировать это кино. Охрана долго ничего не понимала, на дороге мимо офиса три часа стояла пробка, все что-то снимали на телефоны, приехали все ТВ-каналы, а утром видео выложили на «ютубе», и количество просмотров росло в геометрической прогрессии.

Делом занялись органы по статье «экстремизм», но ничего не нашли. На чрезвычайном совете директоров нефтегазового спрута совещались долго. Решили выделить миллион долларов на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации, при этом сделали заявление, что это происки конкурентов в интересах газопровода «Набукко».

Сергей и Дэвид ходили именинниками; узнав из прессы, что посулили миллион за информацию, они решили заработать.

После работы позвали Дашу в кофейню и посвятили ее в подробности. Она не удивилась, чувствовала, что они готовят какую-то бодягу, и тогда они предложили ей заявить на Дэвида – он желал взять на себя вину и прославиться, а деньги поделить. Даша согласилась.

Утром она позвонила куда надо, за ней приехали с мигалкой, через час бар был окружен бронетехникой и спецподразделениями, Дэвид с рюкзаком спокойно сидел в подсобке и рассылал по агентствам и каналам, что сейчас по такому-то адресу состоится захват террориста-одиночки, работающего в интересах атлантической диктатуры и мировой закулисы. Первыми приехали Си-эн-эн и сняли все в прямом эфире. Дэвид вышел с поднятыми руками – он обещал Даше не доводить бар до разрушения силовыми органами.

Вечером в новостях Дэвид стал звездой, ролик о спруте увидел весь мир, Даша получила триста долларов, Дэвид получил контракт от мирового рекламного агентства на креатив, а бармен Сергей ничего не получил – он романтик, город – его награда.

Лидер блогов

Юзер Пика встал рано, со старым новым гимном, несмотря на то, что вчера срач со сталинистами закончился в три ночи.

Пост Пики вызвал в Рунете шквал комментариев, и сегодня он точно станет «тысячником» и выйдет на долгожданную орбиту, и даже Тема и Долбоеб зафрендят его; он так думал, падая на кушетку глубокой ночью.

Он стоял босыми ногами на стылом, заплеванном шкурками от мандаринов щербатом полу, нервно открыл ноутбук и с нетерпением зажмурился, пока открывался его ЖЖ – его любимая жежешечка.

Страничка открылась, он глянул вниз, количество комментариев не выросло, он опять недотянул до «тысячника», опять его забанили националисты, и даже как бы свои либерасты тоже не поддержали.

«Не дотянул», – подумал он с огорчением, а потом двинул в отхожее место.

Потом Пика налил себе чаю в огромную чашку с «собакой» на борту, сел на свою галеру и поплыл по Сети, проверяя закладки и странички чужих высеров, появившихся за ночь, которые он мониторил, чтобы не пропустить какой-нибудь срач. Пика был сетевым бойцом и искал новых сражений.

Три темы в Сети вызывали у блогеров живейший интерес: сиськи, Сталин и евреи.

Юзер Пика все три темы обожал, он был наполовину еврей, наполовину сталинист, вторая половина его жаждала славы любой ценой, и он искал покупателя на свой «товар», но пока никто не предлагал. Сиськи он тоже любил смотреть, но бескорыстно, из любви к искусству.

На клавиатуре и вокруг лежали пустые пачки от чипсов, пластиковая тара от кока-колы, протухшие огрызки сыра и яблок симиренко и две пепельницы бычков дешевого «Винстона», который он курил постоянно.

Завершала композицию пара носков прошлогодней стирки и новенькая мышка в виде пары грудей – его гордость и удачное приобретение. Раньше у него мышка была в виде фаллоса, но теперь любимый предмет и объект вожделения всегда был под рукой.

Кроме постов на темы дня, Пика тайно писал роман о любви к своей бывшей жене, ушедшей от него к старому чиновнику из управы.

Старый мудозвон соблазнил ее, уставшую жить со свободным «художником», она поменяла шило на мыло. Но мыло было дорогое, душистое, и к мылу прилагалось еще многое из мира «лакшери», как любил говорить ее новый покровитель и большой поклонник всего прекрасного, бывший прапорщик ГСМ из города Геленджик, а ныне чиновник категории А и академик Академии правопорядка, в звании генерал-полковника по версии Ассоциации ветеранов силовых структур. Он твердо стоял на земле, он ею торговал.

Юзер Пика писал уже два года, но роман не шел. Видимо, для романа он еще не созрел, да и в реальной жизни у него романов не наблюдалось, так, случайные связи, как говорили венерологи.

За свои сорок лет он многое успел: поучился на истфаке в МГУ, но с третьего курса ушел в кочегары. Пытался петь, как Виктор Цой, но звездой не стал – сидел у стены на Арбате и пел для зевак за мелкие купюры, иногда – за так.

Работал он после школы в первом эротическом театре, сначала рабочим сцены, а потом уже играл небольшие роли – с его небольшим членом даже это было удачей.

Театр имел успех, они даже ездили на фестиваль в Ригу в 93-м году, где он получил третий приз за мужскую роль второго плана. Первое место дали местному, второе получила синтетическая актриса – дама, игравшая брутального мужика в собственной пьесе «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».

Пику знали все ветераны Арбата, и даже на Гоголевском его не гоняли менты, когда он спал днем на лавочке, устав от творческого экстаза.

Жил Пика в старом доме во дворе реконструируемой Пречистенки, в двухкомнатной квартире своего деда – почетного работника лесного хозяйства. Родители Пики уехали на историческую родину, а он остался, не мог себя представить без Москвы, без Арбата, про который Булат пел, как про отечество.

Папа дал Пике часть своей русской души, мама ничего не дала, кроме избыточной курчавости и игры в четыре руки этюдов Черни.

Учился Пика хорошо, но на вопросы о маршалах Наполеона и генералах фельдмаршала Кутузова, заданные дедушкой на воскресном обеде, не знал ответа. Плакал и упорно говорил, что в школе все знает, а дома у него ступор, и что дедушка виноват в этом. Дед упорствовал, опять спрашивал о крупных странах Латинской Америки. Пика, обливаясь потом, выдавливал из себя Венесуэлу и Колумбию, забыв про Мексику и Бразилию.

Мама подкладывала ему лишний кусок наполеона и уводила в свою комнату, где он рыдал, размазывая слезы жирными от воздушного крема пальцами.

После отъезда родителей Пика зажил во всю ивановскую на Арбате, и вольным соколом стал летать по Москве, и в одном полете присел на Пушкинской, где и встретил свою будущую жену, мелкую пичужку из Дегтярного переулка. Она жила в доме, где была редакция журнала «Балет».

Пичужке было уже двадцать лет, но по мелкости своей она выглядела школьницей. Она училась в пете им. Герцена, имела хорошую дикцию и полное отсутствие какой-либо груди.

В день знакомства с будущей женой Пика пел на мраморной лавке у памятника Пушкину. Его слушала пара пьяных приезжих, считая, что он настоящий бард. Пел он плохо, но громко и зажигательно, репертуар у памятника выбрал правильно – пел Вертинского, «В бананово-лимонном Сингапуре».

Девушка-пичужка застыла в изумлении. Он пел ее песню, пел с естественной картавостью, он был объектом ее курсовой работы по речевым дефектам, и она замерла, пытаясь запомнить его воспроизведение шипящих.

Она слушала, он пел, и на последнем куплете, когда он пел рефрен «Там, пара-ру-рам», она зааплодировала. И он ее увидел, и все стало вокруг голубым и зеленым, как в другой песне, из советского кинохита «Сердца четырех».

Так начался его роман; Пика встал с лавки и подошел к девушке танцующей походкой, и тихо молвил ей на ушко: «Пойдем, я покажу тебе мой огромный внутренний мир». Такими словами начинался роман Пики, а в жизни все было совсем не так.

Он встал с лавки, и, пока он зачехлял свою гитару, девушка скрылась в подземном переходе Пушкинской площади.

Там три выхода: как в сказке, Пика выбрал правую сторону Тверской, побежал в сторону Кремля и настиг девушку у ночного клуба «Найт флайт», где уже толпились искательницы легкой наживы и похотливые козлы из северных стран и стран очень дальнего востока.

Хорошая девушка не затерялась в толпе проституток, Пика увидел, как ее плиссированная белая юбка мелькнула в дверях магазина «Молоко», и влетел в магазин за ней. Девушка покупала глазированные шоколадные сырки, и он отметил, что она питается нездоровой пищей.

Девушка почти не удивилась его второму пришествию, и они пошли вниз, к Кремлю, и начали болтать ни о чем. Он с трудом поспевал за ней, шедшей стремительно, девушка была спортивной.

Он что-то плел ей, как всегда, свой обычный бред про рок, театр на Таганке, где ни разу не был, и про Мадрид, где якобы нелегально учился на тореро, но был ранен двухгодовалым

быком на воскресной корриде и вынужден был вернуться, чтобы не испортить дипломатические отношения с Испанией.

Она была умной девочкой и тоже читала Хемингуэя, но виду не подавала, он был забавен в своем вранье и даже ей нравился.

На площади Ногина, в скверике, где памятник героям Плевны, они остановились, там было на удивление многолюдно. Преобладало мужское население, они ходили вокруг памятника, шептались, были пары, держащиеся за руки, юноша знал, что здесь находится стоянка для мужелюбов.

Двадцать лет назад это было в диковинку, а теперь их показывают по ТВ и они в законе, девушка смутилась, она не была монашенкой, но в одном месте видеть столько мужчин, которые на нее даже не посмотрели, было странно.

Пара прошла в глубь сквера, там всюду шла разнополая любовь, на газонах, несмотря на запрет, лежали люди, пьяные и не очень, парами и по одному.

На дворе была уже полночь. Пика с девушкой сели на свободную лавочку, он хотел достать свою гитару и добавить очков себе, но девушка его остановила и попросила рассказать о себе. Он очень удивился. Уже час он в красках описывал себя, живописал свой путь на Земле, но оказалось мало.

Пика начал сначала, вспомнил, как ему было страшно в инфекционной больнице – их тогда всю младшую группу детского сада положили в изолированные боксы (один мальчик из Якутска привез редкую инфекцию). К детям не пускали родителей, Пика вспомнил, как целый день стоял на холодном подоконнике, прилипший к окну всем телом, и ждал маму. Он знал, что она до вечера на работе, но ждал чуда, а когда она прибежала под окна, махал ей и старался не плакать, пока она стояла, а потом ревел ночью и засыпал, устав рыдать.

Девушка-мечта задрожала и всхлипнула, и он ее обнял. Она доверчиво прижалась к нему, а он вместо сочувствия испытал эрекцию и понял в первый раз в жизни, что если бить на жалость, то можно многого добиться. Он стал гладить ее по спине, обнаружил отсутствие лифчика и обрадовался. Неделью назад Пика не справился с этим изделием, и его обладательница после артподготовки песнями не дала Пике любви, оттолкнула и высмеяла за неопытность и робость.

Потом они поцеловались, и он чуть не лопнул от последствий этого губительного поцелуя. До Таганки они шли как единое целое, Пика прижимал девушку к себе, они часто останавливались, и все продолжалось. Они почти не говорили, руки и губы давали все необходимые сигналы, как в самолетах, свой – чужой.

Пока они шли, наступило утро, скоро Пика с девушкой стояли у подъезда и не могли разжать руки. Случилось нечто такое, что нельзя пропустить в своей единственной жизни.

Два лотерейных билета сыграли в одном тираже, совпало все: серия и номер; так бывает иногда, но так редко, что почти никто не верит, но все желают.

Пика закурил, снял руки с клавиатуры и довольно потер их. Он сегодня домучил историю о том, чего не было, он все придумал.

Да, у него действительно была жена, но недолго. Ровно неделю у него жила за регистрацию одна полумодел-полусодержанка, которой он дал разрешение на прописку. Она заплатила ему один раз, лениво и без души, своим телом, этому задроту – так она его назвала, уходя без благодарности.

Все остальное он придумал, как всегда, создавая себе виртуальную биографию. Он опять стал ползать по закладкам и чужим блогам, он рвался в бой, покой ему даже не снился.

История хромого вентилятора

Один вентилятор, сделанный в Японии, приехал в Россию в легком волнении.

Ветер от старожилов, давно вращающих свои лопасти на одной шестой части суши, доносил до родных стен склада на острове Хоккайдо, что в России хорошо, люди добрые, и работы много. И новенький вентилятор рвался из коробки на волю, устав лежать без воздуха в крыльях, запаянных в пленку.

Таможню прошли спокойно, никто не пострадал. Никто не тыкал железным копьём в блестящие бока бытовой техники; что на самом деле искали эти зеленые человечки, никто не знал.

Но обошлось, – новые хозяева груза дали зеленым человечкам зеленые бумажки, и человечки, довольные, ушли их считать с приятными мыслями, что день их не прошел даром. Это был не первый день зеленых человечков, и они надеялись, что следующий будет еще лучше.

Ночью вентиляторы привезли на склад и стали спускать на грешную землю, делали это все оранжевые человечки, они ловко сгружали коробки и ставили их в недра склада.

Люди в оранжевых жилетах жили здесь же, на складе. Им нравилось работать ночью, в такое время люди в серой форме спали уже пьяные и людям в оранжевом было спокойнее.

Руководил всей этой работой недовольный человек, который любил ночью спать со своей женой.

Со своим красным дипломом и завышенной самооценкой он считал унижительным продавать бытовую технику. Он желал сеять разумное, но за это плохо платили, и он страдал на нелюбимой работе.

Для ускорения разгрузки недовольный человек схватил коробку с продукцией и понес ее в темный угол, желая личным примером воодушевить складской народ.

Недовольный человек был неловок от природы, он упал и уронил коробку.

Один вентилятор сломал свою единственную ногу, и мечта его – попасть в хорошие руки и создавать комфортную атмосферу – испарилась, как туман после дождя.

Его с поломанной ногой отбросили в дальний угол, где лежали другие инвалиды-вентиляторы, ждущие своей участи, дороги под пресс или в технический сервисный центр, где работали бездушные люди, которым судьба поврежденных приборов была безразлична.

По большому счету этим людям и собственная судьба была безразлична.

По шелесту тех, кто побывал в их руках, было ясно, что этот путь станет последним. Нужно было что-то делать, и хромой вентилятор решил изменить свою судьбу.

Он начал действовать, он понял со страшной очевидностью, что он, трехскоростной с тремя режимами вращения крыльев, с переломанной ногой превратится в груды лома, если не использует свой единственный шанс и не переберется в угол, где стояли его собратья, ждущие отправки в новую жизнь.

Слава богу, что мешок с него сняли после падения, шнур свой он развязать никак не мог, значит, надо было искать другой путь, и он вспомнил, что их партия имела в себе автономный источник питания, накапливающий энергию от собственного движения.

Когда их испытывали на заводе, они крутились двое суток, источник кое-что накопил, и вот теперь нужно было использовать эту энергию для спасения.

Вентилятор перекатился чуть-чуть и собственным весом нажал на кнопку зеленого цвета, крылья его дрогнули, и он почувствовал скорость вращающихся лопастей.

Сила ветра потянула его куда-то, и он, как летчик Маресьев, пополз навстречу нормальным приборам.

Всю ночь он полз, а к утру достиг своей цели, упал в раскрытую коробку рядом с другими, ждущими переезда в другой мир, мир стильных и красивых вещей, – и ветер в их лопастях рвался на свободу.

Утром оранжевые человечки, не глядя, загрузили их и повезли в блестящий мир супермаркета. Те, кто бывал там, говорили, что там все чудесно, много разных других приборов, играет музыка, а ночью, когда охрана уходит, там бывает такое, что не расскажешь.

Вот в такое место их везли в темном кузове, но им было не страшно, там будет свет, там каждый должен обрести хозяина и уехать делать дело своей жизни.

До полки в торговом зале приборы довели на тележке, в образцы наш вентилятор, к счастью, не попал – ведь это было бы форменной катастрофой, его со всеми остальными засунули под прилавок.

Но через щель в коробке вентилятор видел кусочек мира. Старожилы не обманули: музыка шелестела, как морской прибой, через стеклянный потолок вентилятор рассмотрел немножко неба с облаками, столь похожего на небо на родине. В плазме, стоящей на соседней полке, он разглядел людей – они сновали между приборами, и каждый из них показывал себя с лучшей стороны.

Вентилятор вспомнил руки противного менеджера, уронившего его. Но грустные мысли развеялись, когда в плазме напротив появилось ее лицо. Это была девушка – видимо, студентка, милая такая девушка, каких много.

Ее вид давал понять, что она не шикует, живет, скорее всего, на съемной квартире, где нет кондиционера, и ей нужен вентилятор, чтобы нежно обдувать ее в летний зной и душными ночами, когда к ней приходит ее друг и они лежат на узеньком диване, обнимаясь.

Вентилятор сразу захотел служить ей, служить до последнего вращения своих лопастей, служить ей днем и ночью, крутить вокруг нее свои ветры и даже тогда, когда ее нет, готовить атмосферу к тому моменту, когда она вернется. Ей почему-то не понравился ни один образец, стоящий широко расставив свои ноги на подиуме, и тогда!

Продавец полез в коробку и достал наш вентилятор, и он был счастлив.

«Голова» его не подвела, все режимы и скорости показали себя безупречно, он был великолепен. Девушка уже желала его взять, и продавец полез за его ногой, переломанной в трех местах. Он не смог встать, не смог подняться, и она смущенно отошла от него, не желая видеть, как его швырнут опять в неизвестность.

Продавец хладнокровно метнул его в пустую коробку и маркером вынес на крышке приговор «На склад». Вентилятор упал в коробку, сверху на него со звоном упала раненая нога, слава богу, голову и сердце-мотор она не повредила, но ему уже было все равно, свет померк, он упал в бездну коробки и ждал, просто ждал, когда это все кончится.

Он уже не слышал музыки, он уже ничего не слышал и не видел – не хотел.

Вечером, когда гул в зале стих, его отнесли куда-то, грубо бросили на пол и повезли не разбирая дороги. Он знал, что это последний путь и надо готовиться к смерти, его ждала гильотина, она порубит его на части, уничтожит его, превратит в железный лом. Может быть, в следующем превращении он станет велосипедом или утюгом, но в другой жизни. Эту он прожил бездарно, тут спору нет.

Ночью его привезли на склад, он лежал в темном углу уже без ноги, и даже оранжевые человечки проходили мимо него равнодушно. Он лежал, не встречая никакого сочувствия ни у приборов, ни у людей.

Сколько дней он так лежал, он уже не помнит. Покрылся пылью, зарос грязью, которая наметалась в дальний угол, там даже не убирали, но в воздухе что-то происходило.

На город налетел сумасшедший зной, люди падали и задыхались. Раньше они равнодушно проходили мимо приборов, считая их просто блажью и излишеством заевшихся горожан. Деды наши себя не обдували, мы не баре и не падишахи, все это баловство, считали они и проходили

равнодушно. Но тут припекло, да так припекло, что склад стал пустеть. Сначала его покинули важные и надменные кондиционеры, потом мигом схлынули вентиляторы, гордо подняв свои крылья. Они стали в большой цене и даже возгордились до уровня кондиционеров непрестижных марок. Даже ионизаторы воздуха, до сих пор никому не нужные, разошлись как горячие пирожки, и склад опустел.

Противный менеджер стал очень нужен всем. Ему звонили бывшие одноклассники, представители силовых органов, даже бывшая жена, бросившая его пять лет назад, угодливо просила пару вентиляторов для больного мужа. Противный менеджер слал вершителем судеб, теперь он решал, кому жить, а кому умирать.

Карманы его трещали от денег, он даже завел себе любовницу из центрального офиса, которая принимала его в своей квартире, где ровно гудели десять кондеев и три ароматических ионизатора. Погода для противного менеджера изменилась, он стал повелителем ветра.

Он взмахом одной руки мог летний зной превратить в морской штиль, понизить температуру вашей жизни на двадцать градусов за небольшое или очень большое вознаграждение, он стал властелином кольца.

Кольцом он называл маленький склад на своей даче, куда вывез когда-то списанные приборы, случайно залитые дождем, который он описал в отчете как цунами. Японские партнеры, знающие о цунами не по телевизору, приняли отчет, и приборы лежали до дня икс, и дождались.

У противного менеджера появились новые друзья, они его уважали и звали между собой Вентилятор всея Руси. Ему нравилось. Жара стояла уже второй месяц, и он был на вершине блаженства.

Вот тогда-то он подумал, что надо помогать слабым, и решил заняться благотворительностью.

Он пришел на склад и направился в угол, где лежали инвалиды, собрал группу оранжевых человечков и дал команду провести реабилитацию приборов. За два дня приборы отмыли, тяжелыми молотками без наркоза и нагревания выровняли, запаяли трещины, потом покрасили облезшие бока, упаковали в новый пластик и торжественно отвезли в дом инвалидов, где лежали люди, забывшие, что такое прохлада.

Все было срежиссировано, торжественно и значимо, коробки с нарядными бантами таскали по палатам толстые нянечки, один калека, еще не потерявший ум от зноя, благодарил спонсора за счастье и все хотел повесить ему свою медаль «За отвагу» на лацкан дорогого костюма, но не сумел – не достал на одной ноге до пышной груди благотворителя.

И они встретились: ветеран разгрома Квантунской армии и прибор, изготовленный руками поверженных врагов.

Вентилятор, счастливый, что судьба его круто изменилась из-за побочных явлений потепления в природе и невнятности в подписании Киотского протокола, и старый солдат, доживающий свой век в доме печальном.

Они нашли друг друга, и теперь вентилятор всеми лопастями создает ветер, шевелящий серебряные пряди старого воина, работает неустанно, на всех режимах и скоростях. Два друга ладят, только иногда спорят из-за принадлежности Кунашира и Шикотана, но редко, не переходя на личности.

Хеппи-энд

Приходько собирался на встречу с Ксю. После долгого перерыва в четыре года они опять стали видеться довольно часто.

За четыре года после разрыва они встречались всего пару раз в год, но связи телефонной не прерывали, звонили друг другу и с разной степенью откровенности сообщали о себе.

Но несколько месяцев назад все резко поменялось, Ксюша стала робко намекать Приходько, что хочет оставить на память о нем маленького, который будет похож на него. У нее уже был ребенок от собственного мужа, но старая мечта Ксюши иметь у себя копию Приходько воспламенилась в ней с новой силой. Все четыре года она была занята: беременность и три года подъема ребенка погрузили ее в заботы, но старого она не забывала, все она делала только для того, чтобы показать Приходько, от чего он отказался. Она стирала, варила, воспитывала и каждый день говорила себе: «Вот я такая, он не верил, что я могу быть настоящей женой, а я ему докажу». И она крутилась и старалась, а оказалось, что все зря. Мужчина, которого она хладнокровно выбрала для мести, был не плохим и не хорошим, он был, делал все, что она хотела.

Ей казалось, что он даже любит ее, но ей было все равно: сама она не любила, она сразу сказала ему, что не любит, но жить будет, если его это устраивает. Он с этим согласился, надеясь, что время все расставит по своим местам.

Ксюша встала на свое и поставила мужа на его место; она его использовала во всех смыслах, он ей подходил и зарплатой, и характером, но этого оказалось мало – некого было любить.

Роман с Приходько ее испортил, он задал ей такую планку в отношениях, что любое действие своего мужчины она примеряла к Приходько, и выходило так, что щедрость мужа радует ее меньше, чем прижимистость бывшего, еженедельные цветы и пахота на даче на радость ее маме не приносили удовлетворения. «Все-таки сука этот Приходько», – часто думала Ксюша. Почему он зассал уйти от жены? И ответ вызывал только слезы и ревность к старой суке, которая встала на пути.

Боль со временем притупилась, но иногда во время их переговоров вспыхивала, и Ксюша довольно комментировала его жизнь с женой, не стесняясь в выражениях. Приходько молчал, не возражая, знал, собака, чье мясо съел: «Съел ты мою жизнь», – будто говорила она между строк, он знал свою слабость и молчал.

Но так было не всегда, пару раз Ксю и Приходько встречались совершенно спонтанно, и случалось чудо. Они соединялись в единое целое, выпивали, пели, танцевали в забытых богом кафе, сцепив руки и не сводят глаз друг с друга.

Время пролетало со свистом, и только ночь разлучала их. Хотя встреча должна была закончиться максимум через час, они об этом забывали, и радость быть рядом напрочь убивала ответственность и правила поведения в семейной жизни.

А потом Приходько не спал несколько ночей, думал обо всем, жалел себя, жалел Ксю, но...

Старая бодяга воспоминаний плелась за ним все эти годы, уже не мучила остро, как раньше, но пустота в жизни, в которой не было фейерверков, очень маяла душу.

Мертвая пустота в почти неживой душе лишала ежедневный быт хоть какой-нибудь синусоиды, где есть пики и провалы. Ровная бесконечная линия жизни, похожая на кому; вроде ты жив, а жизнь где-то далеко, и ты просто наблюдатель за тем, что происходит вокруг тебя.

В голове застряли слова, высказанные Ксю в пьяном бреду о том, что она хочет на память его копию. Эти слова ныли колючей щепкой, как в детстве рука с занозой от перил на горке.

Завести ребенка, сделать ребенка – как это возможно, он не понимал, завести можно попугайчика или хомяка, даже паук в клетке на подоконнике, купленный по какой-то минут-

ной блажи, висит вниз головой уже пять лет, забытый и никому не нужный, не пьет, не ест, висит вверх ногами и сводит с ума. А тут ребенок, которого нужно родить и забыть о нем, и оставить на этом свете без твоего участия, ведь быть в такой ситуации полноценным отцом Приходько не мог, а донором быть для него было совсем невозможно, да и какой из него донор в его шестьдесят. Чаплин родил последнего ребенка в семьдесят шесть лет. Так он не Чаплин, а просто немолодой человек, пьющий, курящий, с хроническими болезнями, не атлет и не праведник.

Он заметил, что часто думает о ребенке, даже как-то открыл сайт о поздних детях и стал читать про негативные случаи, про снижение подвижности сперматозоидов, про гены и прочее. Читал он все это с тайным страхом, как будто подглядывал что-то запретное, но читал все больше и больше, заметил за собой, что когда идет реклама чего-нибудь про малышей, он не щелкает пультом, а внимательно разглядывает толстеньких младенцев. Их пяточки и розовые попки ему жутко нравились, а он себе нет. Вспомнил, как его товарищ, в пятьдесят лет родивший последнего ребенка, повел его в первый класс, и мальчик сказал отцу: «Папа, отойди». Девочка-соседка спросила у него: «А это твой дедушка?» – и малыш огорчился и не нашел что ей ответить. Товарищ со слезами рассказал это Приходько, а тот только рассмеялся, не понял тогда, а теперь понял, и ему стало не до смеха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.